

Говард Филлипс Лавкрафт

Он

(He)

Я увидел его в бессонную ночь, сквозь которую брел в отчаянии, пытаюсь спасти собственную душу и зрение. Мой приезд в Нью-Йорк оказался ошибкой; ибо если искал я пронзающего душу удивления и вдохновения в несметных лабиринтах старинных улочек, вьющихся бесконечно от забытых дворов, площадей и набережных к дворам, площадям и набережным, равно забытым, и в циклопических современных башнях и башенках, черным Вавилоном вырастающих под ущербными лунами, то обрел только ужас и уныние, грозившие овладеть мной, парализовать и уничтожить меня.

Разочарование пришло постепенно. Впервые выйдя в город, я смотрел на него на закате с моста, на величественный город над водами, высящийся своими шпилями и пирамидами и словно изящный цветок раскрывающийся над озерцами сиреневого тумана, чтобы играть с пылающими облаками и первыми вечерними звездами. После он осветился – окно за окном – над искрящимися потоками, над которыми плясали и скользили фонари, низкие голоса рожков выпевали причудливую мелодию, превращаясь в усыпанную звездами твердь, исполненную музыки фейри, единую с чудесами Каркасонна, Самарканда и Эльдорадо и со всеми чарами славных и полусказочных городов. Вскоре после этого меня провезли по его старинным дорогам, столь дорогим для моей фантазии узким и кривым переулкам и проездам, где уложенные в георгианском стиле ряды красных кирпичей подмаргивали крохотными слуховыми окошками над поддерживаемыми колоннами порталами входов, глядевших на позолоченные седаны и обшитые панелями экипажи – и в первом порыве восхищения этими давно желанными для меня предметами я думал, что воистину лицезрею такие сокровища, которые по прошествии времени сделают меня поэтом.

Однако удача и счастье не были суждены мне. Яркий дневной свет озарил всего лишь нищету, отчуждение и отвратительный элевантиаз растущего, ползущего во все стороны камня, над которым луна намекала на очарование и древнюю магию; а по желобам улиц текли толпы приземистых и коренастых мужчин с жесткими лицами и прищуренными глазами, пронизательных, не знающих мечты незнакомцев, чуждых тому, что их окружало, не знавших родства с синеглазыми парнями из предшествующих поколений, в сердце своем наделенных любовью к прекрасным зеленым полянам и белым деревенским колокольням Новой Англии.

Посему вместо стихов, на которые я надеялся, явилась зябкая чернота, а с ней и несказанное одиночество; и я наконец познал жуткую истину, которую никто не посмел произнести до меня – неизреченную истину, тайну тайн, – гласившую, что город сей, сложенный из камня и шума, не является живым продолжением Старого Нью-Йорка, как Лондон является продолжением Старого Лондона и Париж – Старого Парижа, но на самом деле умер, и распростертое его тело плохо забальзамировано и заражено странными одушевленными тварями, не имеющими ничего общего с ним, каким он был

при жизни. Совершив сие открытие, я потерял сон; и хотя некая часть отрешенного спокойствия вернулась назад, после того как я постепенно выработал привычку днем держаться подальше от улиц и выходить только по ночам, когда тьма наделяет жизнью те немногие призраки прошлого, что еще парят в окрестности, а белые старые двери вспоминают те доблестные фигуры, что некогда проходили сквозь них. Добившись подобного облегчения, я даже написал несколько стихотворений, однако воздерживался от возвращения домой, чтобы не явиться к родным униженным и потерпевшим поражение человеком.

А затем, гуляя бессонной ночью, я встретил его. Это случилось в абсурдном и неприметном дворике, находящемся в гринвичском квартале, в котором по своему невежеству поселился я, услышав о том, что его называют прибежищем поэтов и художников. Старинные проулки и дома, неожиданные площади и дворики воистину восхищали меня, и, обнаружив, что поэты и художники всего лишь громкоголосые претенденты, чья необычная привлекательность не что иное, как мишура, а образ жизни является отрицанием всей чистой красоты, которая присутствует в поэзии и живописи, остался там исключительно из любви к этим почтенным предметам. Я представлял эти улочки такими, какими они были в пору расцвета, когда Гринвич еще оставался тихой деревней, не поглощенной городом; и в предрассветные часы, когда утихомиривались все гуляки, любил скитаться в одиночестве по загадочным мостовым и размышлять над любопытными арканами, которых не могло не оставить здесь предшествующее поколение. Так я сохранил живой свою душу и получил немногие сны и видения, которых так алкал поэт, обитающий в недрах моей души.

Человек этот попался навстречу мне около двух часов облачной августовской ночи, когда я проходил через уединенные дворики, ныне доступные только через темные коридоры прилегающих зданий, но прежде бывших частями непрерывной сетки живописных аллей. До моих ушей доносились о них смутные слухи, и я понимал, что их не может быть ни на какой сегодняшней карте; но то, что они забыты, лишь делало их более дорогими в моих глазах, и посему я искал их, удвоив обыкновенное рвение. Но и отыскав их, я лишь удвоил свой пыл; ибо нечто в их расположении смутно намекало, что они могли оказаться только немногими из множества подобных схожих, темных и немых переулков, зажатых между высокими глухими стенами и заброшенными задними постройками или в темноте таящихся за подворотнями, о которых не ведают орды чужаков, или же охраняющихся нечистыми на руку и необщительными художниками, чьи обычаи не были рассчитаны на известность или дневной свет.

Он заговорил со мной без приглашения, отметив мое настроение и взгляды, с которыми я обозревал снабженные дверными молоточками двери над ступенями с железными перилами в бледном свете узорчатых фрамуг, едва освещавшем мое лицо. Его лицо находилось в тени, голову прикрывала широкополая шляпа, удивительным образом идеально сливавшаяся с подчеркнуто вышедшим из моды плащом; впрочем я чуть встревожился еще до того, как он обратился ко мне. Сложения он был очень хилого, тощий почти как пугало; но голос его оказался на удивления мягким и гулким, хотя и не особенно глубоким. Он сказал, что несколько раз замечал меня в моих скитаниях по городу и сделал вывод о том, что я похож на него в своем интересе к останкам минувших лет. Не нужно ли мне руководство человека, поднаторевшего в подобных исследованиях

и обладающего местной информацией, несравненно более глубокой, чем та, которую может приобрести любой чужак, посетивший эти края?

Пока он говорил, в желтом свете, падающем из одинокого чердачного окна, я сумел разглядеть его лицо, оказавшееся лицом пожилого и благородного, даже симпатичного человека и даже несшее на себе следы благородного происхождения и утонченности, необычных для сего века и места. Тем не менее некое качество в нем встревожило меня почти в той же мере, как понравились мне черты, – быть может, потому, что оно было слишком белым, или слишком бесстрастным, или слишком не соответствовало окрестностям, чтобы я мог чувствовать себя легко и непринужденно. Однако я последовал за ним; ибо в те томительные дни лишь поиск старинных красот и тайн сохранял в живых мою душу, и я посчитал милостью Судьбы возможность присоединиться к тому, чьи родственные изыскания позволили проникнуть в недоступные мне глубины.

Нечто, присутствовавшее в ночи, принуждало человека в плаще к молчанию, и долгий час он вел меня вперед, воздерживаясь от бесполезных слов, делая кратчайшие из комментариев, называя старинные имена и даты, направляя мое продвижение в основном жестами, пока мы протискивались сквозь щели, на цыпочках проходили по коридорам, перелезали через кирпичные стенки, а однажды проползли на руках и коленях по невысокому сводчатому проходу, чьи немислимая длина и мучительные изгибы стерли наконец в моей голове всякое понятие о географическом положении, которое я до сих пор умудрялся сохранять.

В редких и случайных лучах света рассматривали мы предметы старинные и чудесные, или, во всяком случае, казавшиеся таковыми, и я никогда не забуду покосившиеся ионические колонны, и желобчатые пилястры, и увенчанные урнами железные заборные столбы, и распахнутые кверху поперечины окон, и декоративные окошки над дверями, становившиеся все более причудливыми и странными по мере нашего погружения в этот неистощимый лабиринт неведомой старины.

Мы никого не встречали, и с течением времени освещенных окон становилось все меньше и меньше. Сперва нам попадались масляные уличные фонари на старинных подвесках. Потом я заметил в некоторых из них свечи; и наконец мы пересекли жуткий и неосвещенный двор, где моему проводнику пришлось подвести меня своей облаченной в перчатку рукой сквозь крошечную тьму к деревянной калитке в высокой стене, за которой оказался недлинный переулок, освещенный только фонарями перед каждым седьмым домом – немисливо колониальными оловянными фонарями с коническими крышками и дырками, проделанными в боках. Переулок этот уводил круто в гору – много более крутую, чем, на мой взгляд, было возможно в этой части Нью-Йорка – и в верхней части своей был перегорожен заросшей плющом стеной частного поместья, за которой я мог видеть бледный купол и верхушки деревьев, раскачивавшихся на фоне расплывчатого светлого пятна на небе. В стене этой, под невысоким сводом, оказалась калитка из утыканного гвоздями черного дуба, которую мой спутник отпер внушительного размера ключом. Впустив меня внутрь, в полнейшей темноте он направил наше движение как будто бы по усыпанной гравием дорожке и наконец по каменным ступеням к двери дома, которую отомкнул и открыл передо мной.

Мы вошли, и мне немедленно стало дурно от встретившей нас бесконечной затхлости, должно быть, рожденной веками нечистого тления. Хозяин дома как будто бы не заметил этого, а я из любезности смолчал, пока он вел меня вверх по изогнутой лестнице, по коридору и в комнату, дверь которой, как я слышал, запер за нашими спинами. Затем он задернул занавески трех небольших перегородчатых окон, едва заметных на фоне уже светлевшего неба; после чего перешел к камину, ударил сталью о кремень, зажег две свечи на канделябре с двенадцати подсвечниками и сделал жест, приглашая к негромкому разговору.

В слабом свете я видел, что мы находимся в просторной, хорошо обставленной и обшитой панелями библиотеке, по виду относящейся к первой четверти восемнадцатого столетия, с отменными дверными фронтами, восхитительным дорическим карнизом и великолепным резным украшением над камином, увенчанным свитком и урной. Над плотно уставленными книжными шкапами в пролетах вдоль стен располагались хорошей работы семейные портреты; потемневшие, образуя загадочную дымку, и имеющие несомненное сходство с человеком, который жестом предложил мне сесть в кресло возле изящного чиппендейловского стола. Прежде чем усесть за него напротив меня, хозяин дома как бы в смущении замер на мгновение; а потом, неохотно стянув перчатки, сняв широкополую шляпу и плащ, остался в полном наряде георгианских времен, начиная от заплетенных в косу волос и гофрированного воротника и вплоть до бриджей, шелкового галстука, шелковых лосин и туфель с пряжками, которых я ранее не заметил. Медленно опускаясь в кресло с изогнутой спинкой, он продолжал пристально рассматривать меня.

Без шляпы он показался мне чрезвычайно старым, что ранее просто не было заметно, и я подумал, не это ли не замеченное доселе чрезвычайно долгое долготие стало одной из причин моего беспокойства. Когда он заговорил наконец, мягкий, гулкий и старательно приглушенный голос его нередко дрожал, и мне то и дело приходилось напрягаться, чтобы разобрать его слова с трепетом удивления и наполовину отрицаемой тревоги, возраставшей с каждым мгновением.

– Сэр, вы имеете дело, – начал хозяин дома, – с человеком весьма эксцентричным в своих обычаях, за одеяние которого нет нужды приносить извинения человеку, наделенному вашим умом и привычками. Размышляя о лучших временах, я не поленился позаимствовать их обычаи, усвоить их обычаи и манеры, и привычка эта недостойна осуждения, если не практиковать ее напоказ. Мне повезло в том, что я унаследовал сельскую обитель собственных предков, хотя она и была поглощена двумя городами: сперва Гринвичем, дотянувшимся сюда после 1800 года, а потом Нью-Йорком, присоединившимся к нему около 1830 года. В нашем семействе существовало много причин содержать этот дом без огласки, и я не стал пренебрегать подобной условностью. Сквайр, унаследовавший дом в 1768 году, изучал некие искусства и сделал кое-какие открытия, связанные в основном с влияниями, присутствующими на данном участке земли и в высшей степени достойными внимательной охраны. Некоторые любопытные эффекты этих искусств и открытий я намереваюсь показать вам при условии соблюдения строжайшей секретности; и полагаю, что могу положиться на собственное понимание людей, чтобы не обнаружить недоверия, как к вашему интересу, так и верности слову.

Он сделал паузу, однако я мог только кивнуть в ответ головой. Я уже говорил, что был встревожен, тем не менее для души моей не было ничего более смертоносного, чем материальный мир дневного Нью-Йорка, и вне зависимости от того, кем был этот человек: безобидным эксцентриком или адептом опасных искусств, – у меня не было иного выхода кроме как последовать за ним и утолить свою жажду чудес тем, что может он предложить. Поэтому я стал слушать.

– С точки зрения моего предка, – негромко продолжил он, – в воле человечества присутствовали некие весьма примечательные качества – качества, обнаруживавшие свою неожиданную власть не только над поступками того или иного человека, но и над всем разнообразием сил и субстанций в Природе, и над многими стихиями и измерениями, более универсальными, чем она сама. Могу ли я сказать, что он отказал в святости таким великим предметам, как пространство и время, а также обратил к странному применению обряды неких полукровок – индейских краснокожих, – некогда останавливавшихся на этом холме? Эти индейцы кипели возмущением, пока строился дом, а потом словно чума липли, добиваясь разрешения посетить окружающую его землю в полнолуние. Год за годом они каждый месяц при удобном случае перелезали через ограду и украдкой производили некие действия. А потом, в 68-м, новый сквайр застал их при совершении оных и был ошеломлен тем, что увидел. Посему он заключил с ними сделку в обмен на право свободного посещения его владений, выговорив себе точное знание о том, что они творили, и узнав, что одну часть своего обряда они унаследовали от краснокожих предков, а другую – от старого голландца во времена Генеральных Штатов. Увы, гнилая язва в бок этому сквайру, боюсь, что он напоил индейцев чудовищно скверным ромом – ибо через неделю после того, как он узнал секрет, сквайр этот остался единственным среди живых, кто знал помянутую тайну. И вы, сэр, стали первым чужаком, узнавшим, что таковая существует, и я лопнул бы, если бы рискнул на подобное неуважение к «силам» – не проявляй вы столько любопытства к прошлому.

По мере того как он становился разговорчивее – с выговором давних времен, – кожу мою пробирал озноб. Но он продолжал:

– Однако вам следует узнать, сэр, что то, что сквайр узнал от этих диких дворняг, составляло всего лишь часть того знания, которое ему удалось получить. Он не без толку проводил время в Оксфорде и не о пустяках разговаривал в Париже с древним годами алхимиком и астрологом. Короче, до него донесли, что весь мир есть не что иное, как дым, испускаемый нашими разумами; незаметный для вульгарного разумения, но доступный мудрым, чтобы те затягивались им и выдыхали, наслаждаясь, как облачком дымка первосортного виргинского табака. Чего мы хотим, то и можем сделать около себя; а чего не хотим, от того можем и отмахнуться. Не могу сказать, что все это подлинно и телесно, однако достаточно верно для того, чтобы можно было время от времени учинить милый спектакль. Вам, насколько я понимаю, будет интересно разглядеть некие иные годы, причем так, как никогда не покажет фантазия; посему будьте любезны сдерживать всякий испуг при виде того, что я намереваюсь показать. Подойдите к окну и молчите.

Тут хозяин дома взял меня за руку, чтобы подвести к одному из двух окон, находившихся на длинной стороне зловонной комнаты, и от первого же прикосновения

его пальцев меня пробрал холод. Плоть его, будучи твердой и сухой, во всем прочем напоминала лед; и я едва не вырвал из его ладони свою руку. И все же снова подумал о пустоте и жути реальности и отважно приготовился следовать за ним, куда бы он ни повел меня. Оказавшись возле окна, старик раздвинул желтые шелковые шторы и велел мне смотреть во тьму за окном. Какое-то мгновение я не видел ничего, кроме мириады огоньков, заплывавших где-то далеко-далеко от меня. Затем, словно бы отвечая на хитрое движение руки хозяина дома, над сценой промелькнула зарница, и я увидел перед собой море роскошной листвы... листвы безупречно чистой, а не море крыш, которое рассчитывал бы увидеть всяк пребывающий в здравом уме. По правую от меня руку озорничали воды Гудзона, а впереди вдали мерцал нездоровый отблеск большого соленого болота, пересыпанный звездочками вспышек нервных светляков. Вспышка погасла, и на восковое лицо древнего некроманта легла злобная улыбка.

– Это было до меня... то есть до нового сквайра. Давайте попробуем еще разок.

Я сделался слаб, еще более слаб, чем когда одолевала меня ненавистная современность этого проклятого города.

– Боже мой! – прошептал я, – неужели вы способны делать это раз за разом?

И когда он кивнул, обнажая бурые пеньки некогда желтых клыков, я вцепился в занавески, чтобы не упасть. Однако хозяин дома удержал меня на ногах своей жуткой ледяной хваткой и вновь произвел тот хитроумный жест.

И вновь вспыхнула молния – но на сей раз она озарила не совсем незнакомую мне сцену. Это был Гринвич, привычный Гринвич, там и сям можно было видеть привычную ныне кровлю или рядок домов, и все же заметны были и очаровательные аллеи, и поля, и поросшие травой лужайки. За ними по-прежнему поблескивало болото, но вдали я заметил шпили тогдашнего Нью-Йорка; церкви Тринити, Святого Павла и Кирпичная доминировали над своими сестрами, и слабый полог печного дыма прикрывал сцену. Я тяжело вздохнул, однако не столько от самого зрелища, сколько от тех возможностей, которые предлагало мне пришедшее в ужас воображение.

– Можете... смеете ли вы... обратиться к дальним краям? – проговорил я с трепетом, который как будто бы на секунду разделил и старик, однако злобная улыбка вернулась.

– К дальним краям? Да того, что я видел, хватит, чтобы превратить тебя в безумное каменное изваяние! Назад, назад... вперед, вперед... зри, о скулящий недоумок!

И негромко прорывав эту фразу, он сделал новый жест, вызвав на небо новую молнию, куда более ослепительную, чем прежние. Полные три секунды взирал я на это пандемоническое зрелище, и за секунды эти разглядел перспективу, которой суждено будет впоследствии всегда мучить меня во снах. Я увидел небеса, кишущие странными летучими тварями, а под ними адский черный город с гигантскими каменными террасами и богохульными пирамидами, взметнувшимися в дикарском порыве к луне, и дьявольские огни, горящие в бесчисленных окнах. А на воздушных галереях роились желтые, косоглазые люди этого города в каких-то жутких оранжевых и красных нарядах, безумно плясавшие под лихорадочный грохот литавр, непристойное бряканье

кроталов и глухие стоны рогов, непрестанные траурные панихиды которых вздымались и опадали волнами порочного битумного океана.

Итак, я видел эту перспективу и словно бы внутренним ухом слышал богохульную подводную и потустороннюю какофонию, властвовавшую над ней. Визжащим ужасом воплощались в ней все страхи, которые город-труп расшевелил в душе моей, и, забыв, о приказе молчать, я вопил, визжал, выл, надрывался, ибо нервы мои сдали и стены ходуном ходили вокруг меня.

Затем, когда вспышка погасла, я увидел что трепещет и хозяин дома; ужасное потрясение изгнало с его лица змеиную ненависть, которую вызвали мои вопли. Он пошатнулся, вцепился в занавески, как только что сделал я, и буйно замотал головой, как пойманное в ловушку животное. Видит Бог, у него была на это причина, ибо едва стихли отголоски моего воя, как послышался другой звук, настолько адски красноречивый, что только отупение чувств позволило мне сохранить рассудок и остаться в сознании. Ступени лестницы за закрытой дверью ровно скрипели под осторожной поступью босой или обутой в кожу орды; наконец осторожно и осмысленно брякнула медная задвижка, ясная в свете свечи. Старик ткнул в меня рукой, плюнул сквозь наполненный тленом воздух и гортанно взвыл, шатаясь и вцепившись рукой в желтую штору:

– Полнолуние... проклятый... проклятый воющий пес... ты призвал их, и они идут за мной! Ноги в мокалинах... мертвецы... Бог да погубит вас, краснокожие черти, только я не подливал отраву в ваш ром... и разве не сохранил в порядке вашу гнилую магию?.. Вы сами допились до чумы, проклятые дьяволы, и все хотите обвинить в этом сквайра... прочь ступайте, поганые! Отпустите засов... Здесь для вас ничего нет...

В это мгновение три неторопливых и размеренных удара сотрясли дверную панель, и белая пена появилась на губах отчаявшегося чародея. Ужас его, превращавшийся в нерушимое отчаяние, оставлял место для ярости против меня; и он сделал шаткий шаг в сторону стола, за край которого я держался. Левая рука протянулась ко мне, шторы, зажатые в правой, натянулись и наконец вырвались из своих высоких защепок, пропуская в комнату весь лунный свет, который могло дать посветлевшее небо. Зеленоватые лучи заставили померкнуть свечи, и пелена тлена заново легла на пропахшую гнилью комнату с ее источенными червями панелями, проваливающимся полом, потрескавшейся каминной доской, шаткой мебелью и истрепавшимися драпировками. Она распространилась и на старика, из того же источника или благодаря его страху и ядовитой злобе, и, съезжившись и почернев, он рванулся вперед, чтобы разодрать меня пальцами, превратившимися в ястребиные когти. Только глаза его оставались прежними, и их наполняло растворенное движущее свечение, становившееся все ярче по мере того, как обугливалось и съезживалось его лицо.

Стук повторялся теперь с большей настойчивостью, и в нем даже появилась металлическая нотка. Только что стоявшая передо мной черная тварь превратилась в одну только голову с глазами на ней, бессильно пытавшуюся переползти по шатким половицам в мою сторону и только изредка извергавшую крохотные и беспомощные плевки, полные бессмертной злобы. Теперь на гнилые панели обрушился град сильных и умелых ударов, и в показавшейся в двери трещине промелькнуло лезвие томагавка. Я не шевельнулся, потому что не имел сил для этого, и только замороженно смотрел на то, как

рухнула и рассыпалась на куски дверь, как в нее хлынул могучий, но бесформенный поток субстанции, в котором злыми звездами сверкали глаза. Подобный нефти, хлынувшей из лопнувшей прогнившей цистерны, поток перевернул кресло, затек под стол и ручейком метнулся в ту сторону, откуда на меня до сих пор глядели полные ярости глаза почерневшей головы. Сомкнувшись над головой и полностью поглотив ее, поток в то же мгновение начал отступать; унося с собой свою невидимую добычу, не касаясь меня, он втек обратно в черный дверной проем и хлынул вниз по невидимой лестнице, вновь заскрипевшей как бы под ногами, но уже в обратном порядке.

Тут пол наконец подался под моими ногами, и, ошеломленный, я рухнул в темную палату внизу, едва не теряя сознание от ужаса и задыхаясь от окутавшей меня паутины. Лучи зеленой луны, пробивающиеся сквозь разбитые окна, обрисовали передо мной полуоткрытую дверь; и, поднявшись с усыпанного кусками штукатурки пола, выпроставшись из досок сгнившего потолка, я увидел, как за ней скользит поток жуткой тьмы, в котором сверкают полные злобы глаза. Поток устремился к двери в погреб и, отыскав ее, исчез где-то внизу. Пол нижней комнаты теперь прогибался под моими ногами, как только что было на верхнем этаже, и после раздавшегося наверху треска мимо западного окна промелькнуло нечто похожее на купол. Высвободившись на мгновение из обломков, я бросился через холл к входной двери и, не сумев открыть ее, схватил кресло и, разбив окно, лихорадочными движениями выбрался на неухоженную лужайку, заросшую высокой, в ярд, травой, над которой плясал лунный свет. Стена была высокой, все ворота оказались запертыми, однако, сдвинув оказавшуюся в углу стопку ящиков, я сумел добраться до верха стены и вцепиться в стоявшую там огромную каменную урну.

Измученный взор мой видел вокруг себя только странные стены, невозможные окна и старинные мансардные крыши. Крутой улочки, по которой я пришел сюда, нигде не было видно, и то немногое, что я мог еще видеть, неумолимо и скоро растворялось в тумане, накатывавшем от реки вопреки ясному лунному свету. И вдруг затрепетала та самая урна, за которую я держался, словно бы восприняв от моего тела охватившую меня смертную слабость, и через какое-то мгновение тело мое рухнуло вниз, навстречу неведомой судьбе.

Нашедший меня человек утверждал, что, несмотря на переломанные кости, я прополз достаточно далеко, ибо кровавый след тянулся за мной насколько он смел взглянуть. Собравшийся дождь скоро смыл этот след, связанный с местом моего сурового испытания, и газетчики могли только упомянуть, что я появился из неведомого места на входе в темный маленький дворик возле Перри-стрит.

Я никогда более не возвращался к этим зловеющим лабиринтам, и никогда не направил бы туда здравомыслящего человека. Кем или чем было то дряхлое создание, не имею ни малейшего представления, но повторю еще раз: город сей мертв и полон нежданных ужасов. Куда сгинул старец, не знаю; но сам я вернулся домой, на чистые аллеи Новой Англии, над которыми вечерами реют благоуханные морские ветры.

Перевод: Юрий Соколов

2012 год